



## **А. А. КИЗЕВЕТТЕР**

### **Император Александр I и Аракчеев**

<Фрагмент>

<...> Александр не был рожден для того, чтобы легко отдаваться во власть чужих чар. Александр превосходно сыграл свою роль на жизненной сцене. Недаром Наполеон назвал его «северным Тальма»<sup>1</sup>. Только очень опытный и вдумчиво наблюдательный глаз мог отличать природные краски нравственной физиономии Александра от вечно покрывавшего ее художественного грима. В глазах большинства современников и их потомков Александр представлял собою лучезарное видение какой-то небесной духовной красоты. «Это — сущий прельститель», — сказал про него многоопытный Сперанский. Он владел тайной той чарующей улыбки, которая растопляет самые суровые сердца и вмиг рассеивает все предубеждения. И всем, кто испытал на себе магнетическое действие этой улыбки или хотя бы только слышал от других о ее невыразимой прелести, не могло не казаться, что кроткое сердце этого человека способно излучать лишь милость и благоволение, несущее с собой всеобщее счастье. «Ваша душа — лучшая конституция для вашего народа», — сказала Александру ярая конституционалистка г-жа Сталь. Но в таком случае, как же объяснить себе все эти капризные изгибы политики Александра, эту непрерывную цепь противоречий в его начинаниях, в которых возвышенные планы благодетельствования подданных чередовались с суровыми мерами, сеявшими столько острых обид, столько горя и несчастий? Для поклонников «сущего прельстителя» возможно было подыскать только одно объяснение этому явлению: исполненный лучших намерений и возвышенных чувств, Александр был слишком впечатлителен и слаб волен и его нежное сердце, как тонкая трость от порывов ветра, беспомощно гнулось под разнообразными и противоположными влияниями. Так создавалось представление о чрезмерной уступчивости, как об основной черте в душевном складе Александра. Опираясь на это представление, легко уже было затем объяснить все мрачные стороны Александрова царствования

делом рук влиятельных временщиков с Аракчеевым во главе, оставляя на долю Александра роль жертвы собственного слабоволия.

Я не имею в виду дать здесь исчерпывающую характеристику Александра. Эта трудная задача по силам лишь крупному художнику. Для моей частной цели предстоит исследовать лишь вопрос о степени самостоятельности Александра в выборе своих жизненных путей и своих политических направлений. Однако и для рассмотрения этого частного вопроса неминуемо приходится заглянуть в тот извилистый, запутанный лабиринт, каким представляется душевная организация «неразгаданного сфинкса». Темен путь по этому лабиринту. Но одно для меня совершенно ясно: Александр вовсе не обладал сердцем из мягкого воска; столь многими подчеркнутая «уступчивость» его характера — не более, как психологический мираж. Александр частью бессознательно казался уступчивым человеком, — благодаря тому, что он действительно был равнодушен ко многим из тех вопросов, по которым он не настаивал на своем мнении; частью и, может быть, еще в большей мере, он сознательно и с расчетом надевал на себя личину уступчивости как раз в тех случаях, когда он твердо и решительно ставил себе определенные цели и неотступно шел к ним, виртуозно вводя в заблуждение окружающих людей: Александр всего более умел заставлять служить своим планам именно тех лиц, которым он с особенною предупредительностью делал видимые уступки. Так, «уступчивость» Александра вовсе не свидетельствовала о слабоволии: в одних случаях она являлась естественным следствием лени и холодности его души; в других — служила тонко отточенным орудием государственной и житейской политики.

Обе указанные основные черты психического склада Александра — тяжеловесность душевных движений и изворотливость при достижении поставленных себе целей — вскрываются перед нами уже с самого раннего его младенчества. До нас дошел ряд писем Екатерины II, рисующих ход начального воспитания Александра. Эти письма проникнуты чувством влюбленности старой бабушки в первого внука. Содержание писем — сплошной панегирик «господину Александру», который рисуется пером бабушки, как гениальный ребенок, поражающий привлекательностью душевных качеств, безграничными и быстро развивающимися способностями. Екатерина в особенности восторгается одним свойством своего внука: Александр никогда никому не доставляет беспокойства; он никогда не капризничает. Его душа — мягкая глина, из которой можно лепить, что угодно. Его ни к чему не приходится принуждать; «нет ни выговоров, ни дурного расположения, ни упрямства, ни слез, ни крика»; читать книжку он готов с таким же удовольствием, как вскочить в лодку, чтобы грести. Эти признания счастливой бабушки как будто подтверждают мнение об уступчивости Александра.

Однако надо помнить, что отзывы счастливых бабушек вообще — самый ненадежный источник для характеристики их внуков; из этих отзывов можно брать факты, но за объяснением таких фактов предпочтительно обращаться к другим данным. Драгоценным дополнением и коррективом к письмам Екатерины о младенчестве Александра служат отзывы его первоначальных воспитателей. Здесь меньше восторгов и больше беспристрастия и наблюдательности. Один из этих воспитателей дает отзыв, прямо противоположный тому, что читается в письмах Екатерины: «Замечается в Его Высочестве лишнее самолюбие, а от того упорство в мнениях своих и что он во всем будто уверит и переуверит человека, как захочет. Из сего открывается некоторая хитрость, ибо в затмевании истины и в желании быть всегда правым неминуемо нужно приступить к подлогам». Итак, Александр — ребенок, умеющий упрямиться и упорствовать в своих мнениях, умеющий добиваться того, что составляет предмет его желаний. Почему же перед бабушкой тот же ребенок являлся каким-то добронравным автоматом? Сопоставление свидетельств Екатерины с показаниями воспитателей наводит на предположение, что Александр либо находил неудобным в чем-либо перечесть бабушке, либо просто смотрел с одинаковым равнодушием на каждое из тех занятий, которые она ему предлагала. Все, что мы знаем о личности Александра за все время его жизни, доказывает равномерную допустимость обоих этих предположений. В самом деле, заметки воспитателей Александра рисуют нам его ребенком живым, даровитым, приятным, но неглубоким, легко схватывающим налету новые впечатления, но неспособным глубоко сродниться с ними, быстро утомляющимся от последовательных занятий одним и тем же предметом. Александр, по наблюдениям воспитателей, кажется способным ко многому, но ничто в частности не привлекает к себе его серьезного интереса. Эта природная склонность скользить по поверхности окружающих явлений, оставаясь в глубине души к ним равнодушным и скучая их пристальным изучением, могла только возрасти и укрепиться под влиянием той школы, которую Александру пришлось пройти в годы систематического обучения. Главный ментор Александра, Лагарп, составил первоначально довольно обширный план занятий. Предполагалось начать с курса о происхождении обществ, затем — остановиться на ряде поучительных эпизодов из всемирной истории с целью привить Александру некоторые возвышенные принципы, которые могли быть ему полезны при последующей государственной деятельности, и, наконец, предполагалось подвести под эти уроки отвлеченной политической морали фундамент более систематического обзора конкретных исторических фактов. Составляя этот план, Лагарп очевидно рассчитывал на то, что он будет полным хозяином классного времени и получит

возможность не спеша вести учебные занятия со своим воспитанником. Он упустил из виду, что требования дворцового этикета ежеминутно станут врываться в классную комнату великого князя и ход учения придется подчинять многим соображениям, не имеющим ничего общего со школьной систематикой. Во-первых, правильный курс учения Александра очень рано оборвался: частью по педагогическим, частью по династическим соображениям Екатерина слишком поспешила женить внука. Шестнадцати лет Александр уже стал мужем четырнадцатилетней супруги, впоследствии столь несчастной Елизаветы Алексеевны. Разумеется, правильное ученье после этого стало невозможным. Во-вторых, и в краткий период систематического учения многочисленные отвлечения постоянно нарушали строгий ход занятий. Приходилось по кускам воровать время для школьной работы от суетливой придворной жизни и в то же время искажать и комкать назначенный учебный план. Какой же частью надлежало пожертвовать? Отбросить воспитательно-моралистическую часть Лагарп не считал возможным. Он призван был воспитать не ученого, а государя. И вот, уже не гоняясь за систематическим изучением, Лагарп спешил воспользоваться свободными для занятий часами, чтобы хотя в общей форме раскрыть перед будущим императором мир своих возвышенных идей. Такое преподавание имело ту отрицательную сторону, что оно потворствовало и без того свойственной натуре Александра наклонности к поверхностному восприятию окружающих впечатлений, которые схватывались им налету и очень редко задевали самую глубину его расположенной к дремотной лени души. Слушая Лагарпа, Александр усвоил несколько теоретических понятий о свободе, равенстве, общем благе и т. п. Но он не взял этих понятий с бою, не сроднился с ними органически путем самостоятельной упорной мыслительной работы. Он привык чисто эстетически ценить все эти идеи и любоваться их красотой так же пассивно, как любителю открывается перед его вагонным окном красивыми пейзажами, — любителю и едет дальше. Александр не воспитал в себе жгучей потребности во что бы ни стало добиться воплощения симпатичных ему идей в действительной жизни. Ему была совершенно чужда та страстность, при которой настоящие борцы за идею отождествляют судьбу своих планов с судьбою своей личности, та страстность, которая внушает человеку бесповоротное решение либо победить, либо умереть. Созерцательный эстетик в политике, Александр любил строить широкие политические планы. Но он всегда предпочитал вынашивать эти, обыкновенно довольно фантастические и далекие от реальных жизненных нужд, замыслы не спеша, в мечтательном спокойствии, заранее отодвигая их практическое осуществление в неопределенную даль будущего. Для всякого пассив-



ного мечтателя тем дороже мечта, чем она отдаленнее от грубого мира действительности; воплотить мечту не значит ли рассеять окружающее ее обаяние? И Александр говорил о своих любимых планах со спокойным и холодным красноречием, отнюдь не смущаясь полным несоответствием этих отдаленных замыслов своим текущим делам. Этот-то постоянный разлад слова с делом, обещания с выполнением и внушал многим предположение либо о неискренности, либо о слабовольной уступчивости Александра посторонним влияниям. Между тем Александр совершенно искренно любовался своими мечтательными замыслами и совершенно самопроизвольно, помимо какой бы то ни было уступчивости, сплошь и рядом вел политику, на первый взгляд, ничего общего с этими замыслами не имевшую. Все дело было в том, что заманчивые планы относились на счет далекого будущего, а длинный к ним путь лежал в воображении мечтателя как раз через неприглядную действительность текущего дня; так было удобно и приятно — не нарушалась ни целостность мечты, ни душевный покой на каждый данный момент. Эти отдаленные планы, постоянно роившиеся в уме Александра, всегда имели несколько незаконченный, полуоформленный вид. Александр любил оставлять за ними характер грезы, которая начиналась здесь, в рамках осязаемой действительности, и затем неуловимо расплывалась в какой-то туманной неопределенности. И ничем нельзя было прогневать его в большей степени, как попыткой придать теперь же резко определенные черты этим умышленно неясным контурам манивших его воображение идей. Тогда он тотчас же испытывал такое чувство, как будто его грубо сталкивают с берега на опасный простор морских волн, и это оскорбляло его созерцательную мечтательность: он любил всматриваться в беспредельное море своей мечты не иначе, как чувствуя себя на берегу, на крепкой земле привычных и давно налаженных житейских порядков и отношений. Готовясь к вступлению на престол, и, затем, в течение первой половины своего царствования, он был увлечен планом благодетельствования России, водворения в ней политической свободы на место прежнего деспотизма. Он предавался этой мечте с большим одушевлением, пока на престоле находился его отец и вопрос о практическом осуществлении либеральной политической реформы не мог стать на очередь. Но вот Александр сам сделался императором и в тесном кругу своих друзей и единомышленников, в так называемом «Неофициальном комитете», приступил к разработке ближайшего плана преобразований. Отчего же первым решением этого Неофициального комитета было — отсрочить введение в России народного представительства на неопределенное далекое будущее и заменить первоначальный план конституционной реформы утопическим проектом совмещения политической свободы с неограниченным самодержавием?

Была ли это уступка со стороны «слабовольного» Александра? Ничего подобного.

Обнародованный в настоящее время полный текст протоколов Неофициального комитета показывает, что среди членов этого комитета, вообще отнюдь не склонных к радикальным преобразованиям, сам Александр был наименее расположен к каким-либо решительным шагам по пути политических нововведений. Может быть, тут действовало жизненное чутье, подсказавшее Александру, — вопреки его предшествующим увлечениям, — ту мысль, что его страна еще не подготовлена к коренному переустройству государственного порядка? И это предположение не объясняет сущности дела, ибо, с одной стороны, Александр не переставал толковать о своем решении уничтожить деспотизм и основанное на нем «безобразное здание нашего правления», а с другой стороны, он не задумывался самодержавно ниспровергать и такие гарантии, которые уже были узаконены и соблюдение которых вовсе не требовало с его стороны борьбы с закоренелыми предрассудками общества. Припомним один характерный эпизод, разыгравшийся как раз в медовый месяц «дней Александровых прекрасного начала». Указом о правах и преимуществах Сената этому высшему государственному учреждению было дано право ремонстрации, т. е. доведения до сведения государя указаний на неудобства предполагаемых к изданию законов. В первый же раз, как сенаторы решились осуществить это право, они встретили со стороны Александра самый энергичный отпор. Государь принял сенаторов с ледяной холодностью, и вскоре затем последовало разъяснение в том смысле, что упомянутое право Сената должно быть относимо лишь к законам, изданным до обнародования указа о правах и преимуществах Сената и не распространяется на будущее время. Иначе говоря, под видом «разъяснения» состоялось полное упразднение только что введенной законодательной нормы... Так, Александр, восторгаясь прекрасным призраком политической свободы, с раздражением отгонял от себя всякий намек на воплощение этого призрака в осязательных земных формах. Здесь не было ни искренности, ни слабоволия; здесь была только холодная и праздная любовь к мечте, соединенная с боязнью, что мечта улетучится при первой же действительной попытке к ее реализации. И Александр предпочитал оставаться при неопределенно-расплывчатой формуле Неофициального комитета о возможности совместить свободу с самодержавием; неясность, неуловимость этой формулы как раз и составляла главную привлекательность ее в глазах Александра.

Спустя несколько лет тяжелые испытания от неудач первых коалиций против Наполеона поставили ребром вопрос о необходимости политической реформы. Теперь уже не кабинетные размышления

о возвышенных принципах, а осязательная практическая потребность, всеобщее недовольство и ропот, финансовый кризис, расшатанность государства настойчиво напоминали о непригодности старых форм правления. И от расплывчатых мечтаний о политической свободе приходилось перейти к составлению точного плана государственного преобразования. Эта потребность выдвинула на авансцену внутренней политики великого систематика — Сперанского. Легко можно представить себе, с каким чувством читал Александр проекты Сперанского! Ведь эти проекты низводили воздушно-бесплотную мечту о политической свободе на степень сухих логических формул, точных определений, законченных параграфов. Все получало полную осязательность, принципы формулировались в учреждения, и железная логика всех этих «уставов» и «наказов» не оставляла места никаким заманчивым недомолвкам и поэтическим неясностям. И главное, — план Сперанского был разработан в целях немедленного исполнения, при котором предстояло сейчас же осязательно почувствовать необходимые последствия введения нового порядка на место прежних привычных отношений. План Сперанского должен был возбудить в Александре неприятное чувство более всего именно своею законченностью. И до нас действительно дошли указания на то, что Александр выражал свое недовольство произведением Сперанского и жаловался, что Сперанский искажил первоначальные проекты Лагарпа и слишком определенно ограничил прерогативы монарха. Александр был большой охотник до красноречивых введений в конституционные хартии, но он отнюдь не одобрял точную определенность в параграфах их текста. И не мудрено, что Александр быстро перешел от первоначальной мысли о введении в действие проекта Сперанского целиком к частичному осуществлению лишь некоторых его отрывков. Падение Сперанского обуславливалось, как известно, многообразными причинами. Но вряд ли мы ошибемся, предположив, что та легкость, с которой Александр пошел навстречу недоброжелателям Сперанского, объясняется в последнем счете глубокой разностью натур этих двух людей. Сперанский испугал Александра, показав ему в конкретно воплощенном виде его смутную и бесформенную мечту. И сочиненные Сперанским параграфы встали перед умственным взором Александра, как живой укор его мечтательной пассивности, как предъявленный к уплате точно подведенный счет. И вот, почему, хотя Александр и цеплялся за Сперанского, повинуюсь необходимости, как за незаменимого работника, в то время, когда на очереди стояли конкретные конституционные преобразования, но между ними никогда не могло установиться настоящей, интимной душевной близости, как никогда не могут сродниться духом мечтатель и реализатор. Лишь только

Сперанский исчез с вершины государственной пирамиды, Александр вновь погрузился в фантазмагорический мир бесформенных мечтаний. Приняв иное направление, эти мечтания не утратили своего прежнего характера. Их отличительной чертой всегда было странно-уродливое совмещение резких противоположностей. Обыкновенно Александр начертывал себе отдаленную цель, которая должна была коренным образом изменить окружающую его действительность. Но средством для достижения этой цели он всегда намечал усиленное развитие такой черты этой самой действительности, которая всего более отдаляла ее от задуманной Александром конечной цели.

Так было с общеизвестным планом «Священного союза», так было с гораздо менее известным планом Александра относительно переустройства российской империи на федеративных началах. Проект «Священного союза», написанный собственноручно Александром, имел целью утверждение политической системы Европы на заветах Спасителя. По обыкновению Александр не определял точно, в чем именно будет состоять преобразованный на этих началах международный порядок. Зато для него было совершенно ясно, что для достижения этой цели христианские государи должны заключить тесный союз и твердо взять на себя все руководство жизнью своих народов. Исход дела общеизвестен. Меттерних посмеялся над мечтательной целью проекта, зато ухватился обеими руками за рекомендованное им средство и сделал из этого «средства» опорный пункт общеевропейской реакции. В то же время Александр составил не менее своеобразный план и специально для России. Александр еще в молодости обнаруживал интерес к федерализму. Ввиду этого интереса он предпринимал даже попытки к непосредственному сближению с Джефферсоном<sup>2</sup>.

Впоследствии ход политических событий привел к образованию на окраинах России двух государств, которые были соединены с российской империей связью федеративного характера; то были Царство Польское и Великое княжество Финляндское. Эти события оживили в уме Александра его давний интерес к федерализму. Составленный по поручению государя Новосильцевым проект конституции проникнут явными федералистическими тенденциями. Хотя проект Новосильцева не получил дальнейшего движения, но мысль самого Александра продолжала работать в том же направлении, и, как теперь известно, плодом этой работы явились весьма своеобразные новые планы. Мечтательному уму Александра стала рисоваться Россия в виде группы обособленных областей, из которых каждая имеет свое внутреннее устройство, основанное на свойственном населению данной области коренном жизненном принципе. Таким образом, подобно Польше и Финляндии, и другие окраины должны были получить свои конституции, приноровленные



к жизненным особенностям данных местностей. И вот с этой-то федералистической мечтой Александр ухитрился соединить... свой план военных поселений. Подобно окраинам, и внутренние части империи должны были составить компактную, обособленную область, причем в основу ее политической организации должен был лечь строй военных поселений, по мнению Александра, наиболее соответствовавший бытовым особенностям коренного русского населения.

Создав себе этот план, Александр по обыкновению не вдумывался в его подробности и не трудился над изысканием способов к его осуществлению во всей совокупности. Предоставляя и то и другое неопределенному будущему, Александр, как всегда, сосредоточился на одной из частных, и как раз именно на такой, которая стояла в наиболее нелепом противоречии с основной идеей всего замысла. Этой частностью явилось устройство военных поселений, ставшее излюбленным делом Александра во вторую половину его царствования и окончательно закрепившее неограниченный фавор Аракчеева. Такова была удивительная судьба всех кабинетных фантазий Александра: романтическая утопия «Священного союза» дала осязательный плод в виде «меттерниховщины»; а бесформенные мечты о русских монархических соединенных штатах какими-то непостижимыми зигзагами мысли приводили к торжеству «аракчеевщины». И вопреки распространенному мнению о том, что Александр по слабости характера уступил влиянию Аракчеева, отказываясь от собственных планов, на самом деле Аракчеев с его военными поселениями сам целиком входил в эти планы царственного мечтателя, умевшего, как никто, связывать в своих фантазиях самые противоположные элементы. Известно, что мысль о военных поселениях принадлежала лично Александру, и Аракчеев, не одобрявший этой мысли и возражавший против нее, стал во главе военных поселений только из угождения воле государя. Так противоречивость действий Александра часто давала иллюзию слабости и уступчивости посторонним влияниям, а на самом деле во многих случаях она была просто естественным следствием мечтательного пристрастия этого человека к бесплодной и противоречивой фантастике.

Но это была фантастика особого рода. Александр не противопоставлял мир действительности миру своих грез, а всегда связывал оба этих мира в какую-то причудливую взаимозависимость. Вот почему и Меттерних, и Аракчеев оказывались в его представлении необходимыми и наиболее верными орудиями для приготовления на земле царства евангельской истины и политической свободы. Легко понять, что столь своеобразный мечтатель вовсе не был беспомощным простаком «не от мира сего» в делах текущей политики и житейской практики. Любуясь отдаленными перспективами своей фантазии, Александр

в то же время отлично умел справляться с ближайшими задачами текущей минуты. Здесь во всем блеске развертывался его незаурядный талант к тонким мистификациям. Уже в ранней молодости ему пришлось пройти тяжелую жизненную школу, которая потребовала от него высшего напряжения осторожной изворотливости. С первых же шагов его сознательной жизни судьба поставила его между двух враждебных лагерей, между Петербургом и Гатчиной, между Екатериной и Павлом. Необходимость беспрерывно лавировать и приспособляться, беспрерывно чувствовать себя, словно на острие ножа, изоощрила присущую ему от природы гибкость души. Хитрость и лукавство, способность носить непроницаемую маску на своем прекрасном лице стали для него сознательным орудием самосохранения. Он бывал и в Петербурге, и в Гатчине, и бывал там и здесь не одним и тем же человеком. В Царском Селе и Петербурге, в шитом кафтане, шелковых чулках и башмаках с бантами, он читал с бабушкой французскую конституцию 91-го года<sup>3</sup>, восторгался энциклопедистами или присутствовал при распашных беседах Екатерины с Зубовым, сидевшим тут же в халате и нередко при Александре зло подсмеивавшимся над «гатчинским чудаком». А в Гатчине, — затянутый в военный мундир, в ботфортах и жестких перчатках, он восхищал отца своим увлечением солдатской муштровкой и любил хвастаться при других своими плацпарадными успехами, приговаривая при этом: «Вот это по-нашему, по-гатчински!» Незадолго до своей кончины Екатерина задала внуку трудную задачу, разрешением которой Александр окончательно сдал экзамен по высшей житейской дипломатии. Как известно, Екатерина в последние годы своей жизни решила устранить Павла от престола и передать корону непосредственно Александру. Екатерина долго не решалась заговорить с внуком об этом щекотливом вопросе и первоначально сделала попытку воспользоваться посредничеством Лагарпа. Однако Лагарп благоразумно уклонился от вмешательства в это дело. В конце концов Екатерина сообщила свои планы Александру. Как принял Александр это сообщение, можно судить по следующему письму, которое он отправил бабушке на другой день после первой беседы с нею по этому вопросу: «Ваше императорское величество! Я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым ваше величество сооблаговолили почтить меня. Я надеюсь, что ваше величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной мне милости. Даже своею кровью я не в состоянии отплатить за все то, что вы сооблаговолили уже и еще желаете для меня сделать. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне

и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам вашего императорского величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью вашего императорского величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук Александр». А накануне отсылки этого письма Екатерине Александр написал другое, Аракчееву, тогда уже первому приближенному Павла в Гатчине, и здесь, еще не дождавшись смерти Екатерины, уже называл отца: «Его императорским величеством».

Воспитанный в молодости на таких уроках, Александр навсегда избрал главным оружием в жизненной борьбе виртуозную способность строить свои успехи на чужой доверчивости. Он возбуждал к себе эту доверчивость той видимой готовностью к уступкам, той видимой склонностью признавать чужое превосходство над собою и легко очаровываться чужими достоинствами, которые были принимаемы за чистую монету столь многими современниками и позднейшими историками. Барон Корф, имевший возможность черпать сведения об Александре из рассказов людей, превосходно его знавших, пишет об этом императоре: «Подобно Екатерине, Александр I в высшей степени умел покорять себе умы и проникать в души других, утаивая собственные ощущения и помыслы. Он умел принимать вид какой-то вкрадчивой откровенности, даже простосердечия, которым тотчас привлекались сердца». Графиня Шуазель-Гуфье дает в своих записках такое описание наружности и обхождения Александра, относящееся к 1812 г.: «Несмотря на тонкие и правильные черты и нежный цвет лица, в нем (Александре) прежде всего поражала не красота его, а выражение бесконечной доброты. Выражение это привлекало к нему сердца всех окружающих, сразу внушало полное к нему доверие. Он был хорошо сложен, был высокого роста, осанку имел благородную и величественную. Чисто-голубые глаза его, несмотря на близорукость, смотрели быстро; в них просвечивал ум и какое-то неподражаемое выражение кротости и мягкости. Глаза эти точно улыбались». Из дальнейших слов графини видно, однако, что и от нее не ускользнула черта некоторой преднамеренности во всей этой обаятельной манере Александра держать себя. «В его голосе и манере, — продолжает графиня, — было бесчисленное множество оттенков: в разговоре со значительными особами он принимал величественный вид, хотя был с ними весьма любезен; с приближенными обходился весьма ласково; доброта его доходила иногда до фамильярности; с пожилыми дамами он был почтителен, с молодыми — грациозно-любезен; тонкая улыбка мелькала на губах, глаза его принимали участие в разговоре...». Это был прирожденный дипломат, подобно тому как его соперник Наполеон был прирожденный полководец. В области международных

дипломатических переговоров эти свойства Александра находили себе наиболее яркое применение. Замечательно метко выразился на этот счет шведский посол в Париже Лагербиелке: «В политике Александр I тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». В сфере дипломатического искусства Александр чувствовал себя в силе помериться с самим Наполеоном. До сих пор во многих исторических сочинениях рассказывается старая сказка о том, что в Тильзите Александр весь отдался безотчетной очарованности гением Наполеона. Живучесть этой сказки — лучшее доказательство того мастерства, с каким Александр разыграл тогда умышленно принятую на себя роль влюбленного в Наполеона молодого человека. Мало кто знал в то время, что, уступая сопернику и восторгаясь его величием, Александр готовил ему на будущее тонкие, но опасные сети. Александр открыл тогда свою душу только в письмах к матери, и из этих писем можно видеть, что маской уступчивости и энтузиастического преклонения перед Наполеоном Александр лишь прикрывал холодный и трезвый политический расчет.

Французский посол Лаферроне писал об Александре: «Он рассуждает превосходно, неослабно аргументирует, — словом, изъясняется с красноречием и жаром человека, глубоко убежденного. И между тем частые опыты, история его жизни, все то, чему я был свидетелем, не позволяет ничему этому вполне доверяться». Повторяя ходячие мнения толпы, Лаферроне склонен был объяснять ненадежность заявлений Александра его слабостью. Но более зоркие наблюдатели судили иначе. Мы имеем отзыв Шатобриана: «Искренний, как человек, Александр был изворотлив, как грек, в области политики». Сам Наполеон, размышляя о прошлом на острове св. Елены, очень определенно охарактеризовал своего соперника: «Александр умен, приятен, образован. Но ему нельзя доверять, он неискренен; это — истинный византиец... тонкий, притворчивый, хитрый». Прикинуться уступчивым простачком и тем подготовить гибель противнику — в этом Александр полагал высшее торжество своего искусства. Можно представить себе, с какой гордой радостью в душе сказал он Ермолову по въезде в Париж в 1814 г.: «12 лет я слыл в Европе посредственным человеком; посмотрим, что они заговорят теперь».

Эта привычка постоянно подходить к человеку с затаенной задней мыслью, постоянно расчетливо играть на слабых струнах чужой души развила в Александре недоверчивость и сухость сердца. Очаровывая всех и каждого обаятельным благоговением, он не любил и презирал людей. «Я не верю никому, — сказал однажды Александр, — я верю лишь в то, что все люди — мерзавцы». Зрелище чужого энтузиазма оставляло его холодным и равнодушным. По иронии судьбы как



раз в его царствование Россия пережила момент великого подъема патриотического народного одушевления в годовину отечественной войны. Александр понял цену этого воодушевления, как орудия для борьбы с Наполеоном, но не разделил общенародных чувств, не слился с ними в общем порыве, а, наоборот, как раз в этот момент провел резкую раздельную черту между собой и своим народом. Михайловский-Данилевский сообщает в своем дневнике любопытные указания на то, как не любил Александр вспоминать о Бородинском сражении, о великой народной войне 1812 г. Бывали случаи, когда годовщина Бородинского боя проходила ничем не отмеченной со стороны Александра, хотя бы даже обыкновенным благодарственным молебном. Напротив, Александр чрезвычайно любил вспоминать свой въезд в Париж и никогда не уставал рассказывать про смотр при Вертю. (Смотр <...> происходил 29 августа 1814 г. За три дня до этого — 26 августа, как раз в годовщину Бородинской битвы, — была устроена репетиция предстоящего смотра. Михайловский-Данилевский, описывая эту репетицию в своем дневнике, передает, между прочим, любопытную сценку: генерал Толь, окидывая взорами выстроившуюся армию, сказал государю: «Как приятно, Ваше Величество, что сегодня память Бородинскому сражению». В тот же момент к государю подъехал лейб-медик Виллье<sup>4</sup> с точно такими же словами. Александр не ответил ни слова и поспешил отвернуться). Он как будто противопоставлял войну 1812 г., как дело ему постороннее, заграничному походу 1813–14 гг., в котором он лично играл главную роль, не будучи уже заслонен могучим порывом народного движения. В самом Париже, на виду у всей Европы, Александр усиленно сторонился от роли национального царя. Русские войска, приветствуемые повсюду, как герои, спасшие Европу, только от Александра не получили настоящего признания своей славы. В Париже их изнуряли без всякой нужды бесконечными строевыми учетами и за какую-нибудь мелочную оплошность победителей Наполеона подвергали особенно оскорбительным для национального чувства наказаниям. Дело дошло до того, что однажды Александр приказал посадить русских офицеров на английскую гауптвахту. Это вызвало острый взрыв ропота в военных кругах, и Ермолов в негодуящем тоне сообщил о всеобщем неудовольствии великому князю Николаю Павловичу<sup>5</sup>.

Охотно прибегая к изворотливому маскированию своих планов, Александр в то же время не однажды доказал, что он способен настойчиво и решительно идти к своей цели, не уступая противодействию окружающей среды. Шведский посланник Стединг заметил про Александра: «Если его трудно в чем-нибудь убедить, то еще труднее заставить отказаться от мысли, которая однажды в нем превозоб-

лада». В протоколах Неофициального комитета, составленных Строгановым, можно найти многочисленные указания на то, как боялись члены комитета упорства государя в принятых им решениях. Эта способность вести свою линию наперекор господствующим вокруг настроениям, — способность, прямо противоположная распространенной легенде об уступчивости Александра, — ярко выразилась в истории его отношений к Наполеону. Заключив Тильзитский союз с Наполеоном, Александр стал в резкую оппозицию и русскому общественному мнению, и могущественным придворным кругам с императрицей Марией Федоровной во главе. Друг сердца Александра, Нарышкина, также принадлежала к противофранцузской партии, и только отвергнутая супруга Александра, Елизавета Алексеевна, поддерживала в этом вопросе своего мужа. Все кругом Александра вопияло против союза с Наполеоном, все демонстративно повертывались спиной к посланникам нового союзника. Один Александр, зная, что он делает, вел свою линию с несокрушимой настойчивостью. И также решительно, хотя и в обратном смысле, Александр разошелся со своими ближайшими советниками после занятия Москвы французами. В этот момент воинственная партия Марии Федоровны, охваченная паникой, внезапно отдалась порыву миролюбия, великий князь Константин беспрерывно оглашал залы дворца криками: «Мира, мира!», к противникам продолжения войны примкнул и Аракчеев, но Александр твердо повторил в ответ на все эти призывы свое известное обещание не положить оружия, доколе хотя один неприятель будет оставаться в пределах России. Таковую же бесповоротную решимость проявил Александр в деле устройства военных поселений. Даже Аракчеев был против этой злосчастной затеи. Кровавый бунт, разразившийся в поселениях, мог бы поколебать решимость и очень твердого человека. Но Александр откликнулся на все эти затруднения и препятствия лишь следующими словами: «Военные поселения будут существовать, хотя бы для этого пришлось выложить трупами всю дорогу от Петербурга до Новгорода». Не достаточно ли приведенных указаний для того, чтобы подвергнуть большому сомнению легенду о слабости и уступчивости Александра? Но с устранением этой легенды падает и возможность представлять Александра жертвою посторонних влияний, а в частности, падает возможность объяснять и возникновение «аракчеевщины» тем обстоятельством, что Александр попал в духовный плен к «грузинскому отшельнику». Аракчеев мог стать при Александре лишь тем, что желал в нем иметь сам Александр <...>.

